

КАК журналист-профессионал, я был на двух-трех судебных процессах тех давних лет и видел за отполированными барьерами на подсудимых скамьях многих, недавно овеянных славой большевиков. Если честно — верушку Партия.

И знаю, что эта Верхушка подтверждала каждый плевком, харкнутой в нее прокурором.

Что это? Как это могло быть? Откуда? Почему? Я думаю потому, что к сороковым остались на нашей неповторимой земле всего лишь горькие единицы, что перли наотмашь против того, что повелевала Власть. Считалось, что так будет партийней. Патристичней. Интернациональней. Послушно кланяться. И во славу рабочего класса идти под расстрел.

Да, во многом можно упрекнуть Россию, но в том, что она была неверна делу Маркса—Энгельса—Ленина, ее укорить нельзя.

Вот я и прожил жизнь. Сколько же я всего повидал — не сравнить с общепринятой жизнью.

Трудно вообразить более пестрый век. Геройство, жестокость, коварство — все, что люди искусства столетиями пытались вбить в холст, чернила, ноты, резец, все это вплотную прошагало со мной или во мне. Привычно, как солнце, ветер, изжога, страх, ссора с женой и посещение туалета.

Побродяга и журналист, я видел едва ли не все, что предложил мой срок человечеству: войны, погромы, парады, расстрелы, открытия памятников и низвержение их, оплевывания и возвеличивания, видел стройки, аресты, заседания, похоронных жен, коллективизацию, голод, начальственные забавы. Видел Брежнева, Берия, Горького, горящие танки, тюремные зшелоны, солдатские трупы. И главное — это было как магистральный мотив — обычай ползать на брюхе.

Вот уж тут-то мы действительно указали человечеству путь, озаренный хоралами и хоругвями.

В середине Тридцатых я, начинающий сценарист, женился. Родился сын Алексей. Жил я на дачной станции Клязьма. И каждое утро, гуляя, продвигаясь с ним ритуальный путь: вперед к станции и назад к даче.

И вот, когда мы добирались до станции, мимо мчались странные поезда. Сплошные товарняки: теплушки с забитыми крест-накрест оконцами. Однако сколь бойко ни заколачивай то, что хранишь, всегда по порочной традиции останется щель. И вот через эти щели знает как уцелевшие щели порой выпархивали записки. Они долго металась в воздухе вслед мчавшимся красным товарным вагонам, но, уткнувшись в них, так же падали вниз — Алеша, играя, гонялся за ними и приносил их мне, когда они замирали на обочине или на ветках.

Записки — все на обрывках — были разные, во многих стояло только одно «прощай!». В других рядом с этим значилось слово «целую». В третьих — их было меньше — читалось: «не верь никому, даже близким». В четвертых — «живи, я погиб, ты свободна». В пятых «будь они прокляты!». В шестых — такие шли редко, нервно и одиноко: «Оля, держись! Все вранье. Не поддавайся!»

Удивительно — почти нигде не было адреса тех, кто писал. Все как бы верили чужую и уму обрывка — дойдет! И только порой вчитываясь незаметно и безнадменно стоял крохотный телефонный номер.

Представьте, иногда и передавали: еще не сдохла вконец душа, и было не то чтобы подло, а просто невозможность не найти человека, кому адресован последний листок.

Но длилось это недолго. Душа вскоре сдохла.

Мы жили среди ужасного. И жили, как люди живут. Работали, веселились, дружили, ссорились, влюблялись, болели, выздоравливали, растили детей, чего-то добились, чего-то нет, обедали, спали, прощались. Все как всегда, во все времена. Вот так и прошел наш век, хотя, как думаешь, он был, наверное, один из самых кровавых и страшных в истории человечества.

Мы даже построили кое-что. Конечно, гораздо меньше и хуже, чем об этом писалось.

Но гнусовато прикидываться сейчас, что мы не знаем, как все это соорудилось. Предписывалось построить дом, но без топора, пилы и рубанка. Одними пальцами. Измятыми и полубрубленными.

И строили. И случалось на вид успешно.

Хотя с пилой, рубанком и топором построили бы неизмеримо быстрее и лучше.

Но что же все-таки изменилось за время, что я живу? Кроме надежд, вождей и призывов? Неужто за всеми этими бурями, кровью, застенками и гробами — ничто?

Тут идут споры. Одни говорят, что наши люди, какими были, такими остались, невидя на космос и лазерные лучи. Другие — что мы поумнели.

Ей богу, не знаю. Наверно, действительно, стали умней.

Но только по табельным дням и на сцене Большого театра.

— Эх, Ваня ты, Ваня! Опасливый, бумагопоклонный ты человек!

Такси

Они поругались уже в самую ночь, уже лежа в кроватях. Как всегда началось с пустяков — с того, что она слишком плотно ворковала с Васюней. Тогда она сказала, что он слишком жарко говорил с Катей.

И двинулось и поехали! Вспомнили ссору в Крыму, потом скандал на свадьбе у Райских. И склону из-за его серого пиджака. И то, что она не умеет даже готовить яичницу. И что не выметено на кухне, и так далее и тому подобное, вплоть до половика перед дверью.

И она сказала, что ищи другую, которая повкусней. И потом они залюбовались в интимности — знаете, муж с женой, тут пошли уже все доскональности. И он припомнил, что вовсе не думал на ней жениться и что если бы не Корнюша... И она закричала, при чем

— Влетит в копеечку, — говорит.

— А ты мои деньги считал!

— Наше дело, сестренка, предупредить.

Поехали по второму. Немного забрезжило, дело к рассвету. Еще легковик с гитарами. Три грузовика. Выезжаем в проспект возле Курского. Телефон-автомат.

— Стой!

Остановился. Достала в сумочке книжечку, в ней адреса, телефоны. Тех, кто были мужьями, и тех кто добивался стать.

Набираю первому. Долго был моим мужем, лет пять.

— Ваня!

Думаю, не ответит. Ответил:

— Я.

— Это Таня.

— Какая Таня?

— Да Таня же, Таня! В прошлом твоя жена. Помнишь, как мы любили друг друга.

— Ты что, пьяна? Вагляни, какой час.

— Ваня, мне очень плохо! Я погибаю. Мне некуда деться. Можно к тебе?

— Когда?

— Сейчас.

— Сбрендила? Я семь лет как женат. У меня трое детей. Жена теща. Слава богу, что они на даче — представляю, какой был бы шухер.

— Но мне некуда сунуться, Ваня. Вспомни, как

Евгений ГАБРИЛОВИЧ:

ВРАЗБРОД И ВРАЗБИВКУ

тут Корнюша, если он сам просиживал у нее вечерами и удавался бы, не согласился она, дура, пойти с ним в загс. А ведь у нее было столько женихов! И тут уж он завопил, что это она настаивала на загсе, но что все это можно легко исправить — ей надо всего лишь выметаться отсюда, ведь эта квартира принадлежит ему.

— Уйти? — спросила она. — Когда?

— Хоть сейчас!

— Сейчас?

— Сейчас.

— Ах, так?

— Да, так.

— Прощай!

— Честь имею!

Она вскочила, накинула платье, схватила в шкафу чемодан, бросила две-три юбки, туфли, куртку, разное женское и выскочила на улицу. В бешенстве и с полупросонья.

Было три часа ночи. Ни души. На счастье — такси.

— Едем, мадам?

— Едем.

— Куда?

— По городу.

Парень смысленный, сразу все понял. Да и, видать, не впервые.

— По Кольцевой?

— Дергай по Кольцевой.

Поехали.

Теперь с ее слов:

— Едем по Кольцевой. В первый раз в жизни вижу Москву такой, хотя тут родилась и кончила школу. Ни души. И какой-то тихенький гул. Мелькнет грузовик, и нету. Два раза моргнули жигулята с гитарами. И опять грузовик. И тоска.

— Нет, надо менять! Надо все в корне менять! Проехали всю Кольцевую.

— Махнем по второй? — спрашивает таксист. Парень, видать, не дурак, освоенный.

— Давай по второй.

мы любили друг друга. Как ты мне клялся, что будешь любить меня до доски.

— Не пойму, — сказал Ваня. — Ты что — разыгрываешь меня? Или всерьез?

— Всерьез! Всерьез! Я бездомная. Меня выгнали, и я не знаю, куда деваться. Я — одна в целой Москве! Во всем мире! Можно к тебе? Только до утра. Понимаю, мы были молоды, я полюбила другого. Была душой. Ты обиделся, я тебя понимаю. Но есть же порядочность к женщине, которую ты любил! Ваня, ты слышишь меня?

— Слышу.

— И что?

— Привет, — сказал Ваня, женатый, с детьми. — Жизнь идет. Пойми это, глотни валидолу и спи!

Звоно ко второму в книжке. С ним я пять лет жила. Даже в загсе венчались. Любили, как ненормальные. Всюду вместе. Даже в уборную.

Томе спростонья едва шелестит языком.

— Кеша!

— Ну?

— Это Таня.

— Какая Таня?

— Ну жена твоя, та, которую ты так любил.

— Кого я любил?

— Ну, Таню, Таню. Мы с тобой даже в загсе венчались.

— И чего тебе надо?

— Помнишь — нашу любовь? Как ты целовал меня? Мои руки и ноги? Как я тебя из инфаркта вытаскала? Совсем помирал.

— Ты что? Из дурдома звонишь?

— Кеша, я не шушу! Это очень серьезно. Мне негде приткнуться. Я — Таня! Помнишь? Таня твоя! Можно тебя позвать?

— Когда?

— Сейчас. У меня такси. Через десять минут я буду. Кеша, это очень серьезно. Дело идет о жизни!

— О жизни?

— Кеша, я погибла!

— Погоди, я закурю, — сказал он.

— Закури.

Он закурил.

— Хочешь добрый совет? — спросил он.

— Давай.

— Пойди на кухню, — сказал бывший муж Кеша. — Открой кран, налей жбан воды и окати макушку.

Гудки. Плача, она накрутила третий номер из книжки. С этим она прожила, правда, вовсе не немного — каких-нибудь полтора годика. Да и то в Крыму.

На сей раз ее в этот рассветный час оглушил дым

кормосломом. Танцевали, кричали, спорили, пели.

— Вали!

Тот ее сразу узнал.

— Таня! — возликовал Ваня. — Вот удача-то! А мне говорили, что ты замужеч. Приезжай! Немедленно приезжай! Тут такой разговор! И как раз не хватает одной. Для Петеньки. Жду!.. Ой, братцы, вы даже не вообразите, какое чудо к нам едет!

— Вали, но я навсегда.

— Как навсегда?

Гудки.

Таня в третий раз бросила трубку и вернулась к такси.

— Так... А теперь куда? — задал вопрос тертый ночной водило.

— Назад!

— Куда?

— Откуда приехали.

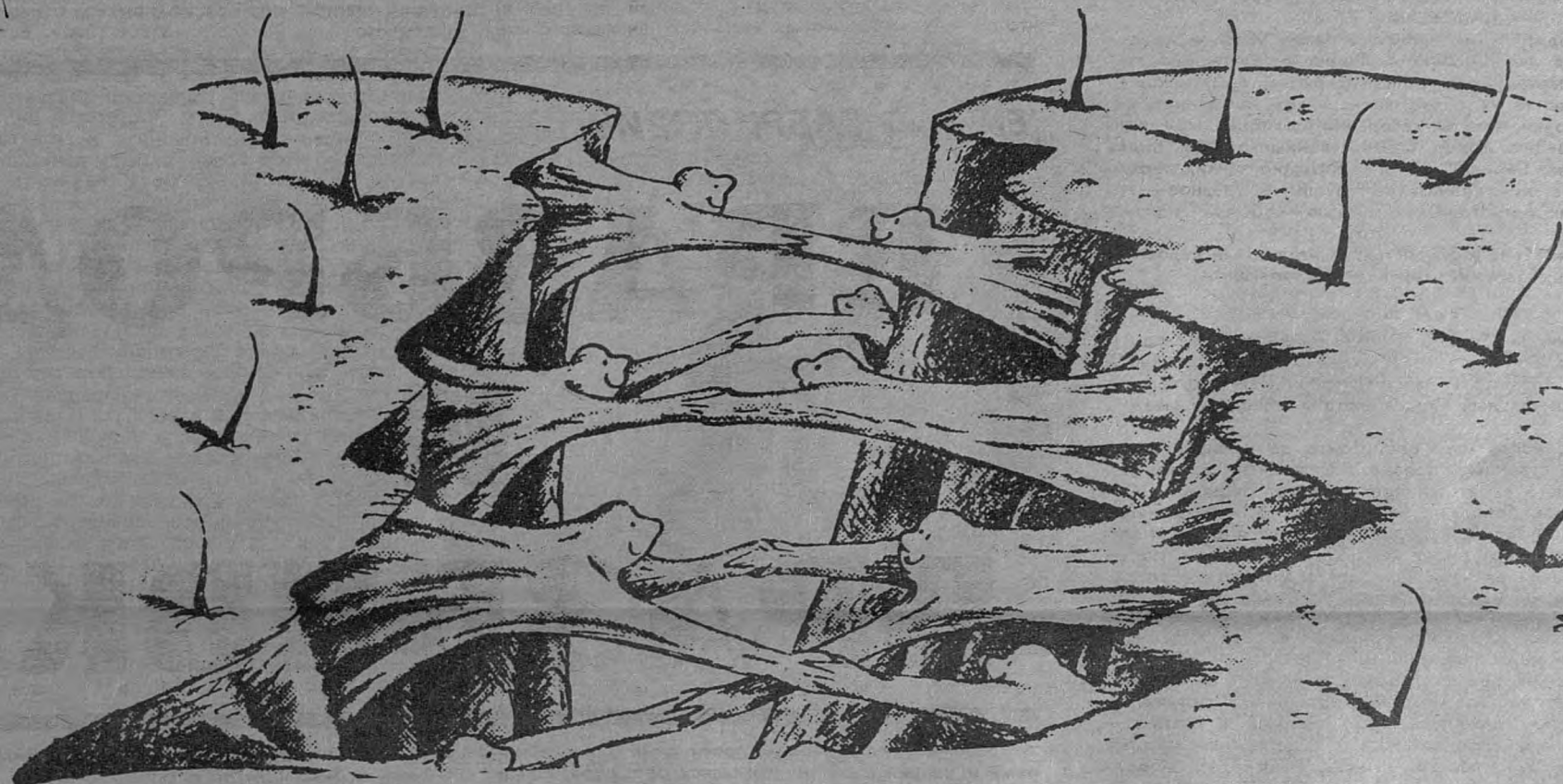
Они вернулись. Все в комнате, которую бросила Таня, было, как всегда. Миша мирно и сладко спал. Она толкнула его. Он раскрыл вежды.

— Ну, как ты тут? — спросила она. — Без меня?

— Что? — спросил он в полусне.

— Все?

— Не понимаю, — сказал он. — Ты разве уходила?



Реестр

Что плохого мне сделали большевики?

Ничего, окромя хорошего.

Я не был ни арестован, ни сгноен, ни казнен. Да, множеству моих замыслов инстанции не разрешили осуществиться. И даже подступиться к ним. Да, они отдали меня в кино, хотя и в первоизданном замысле я был чистойшей воды прозаик.

Но все-таки они дали мне возможность работать. И кое-что сделать. Я награжден всеми возможными званиями и орденами. Порой даже вижу свой след в хрестоматиях.

Конечно, мне часто мерещится (особенно под коленом), что я кое-чего недобрал. Но ведь это мерещится каждому. А, может, если судить независимо — возможно, ков в чем я перебрал.

Так почему же в нынешней схватке с номенклатурой я как-то душевно, внутренне, горячо на стороне тех, кто с ней бьется?

Неужели я так наивен, что не понимаю, что если победят демократы, то снова родится номенклатура? Другая? С иной краской, другими гортанями, шляпами и словами? Другими прическами?

Ведь понимаю — это извечно и неизбежно. Так почему? Почему?

Неужели я верю, что человечество, такое, каким оно сочинено, может отгрохать идеальное общество? Счастье? Что являясь идеальными людьми безоблачные вожди! Лучезарное, безгрешное, безошибочное начальство?

Не верю.

Так почему?

Может быть, потому, что человеку (по сущности и моторности жизни) всегда хочется перемен. Даже тогда, когда ему отвлечено все, что он мог заиметь по возможностям своего мозга и века.

Конечно, я мог бы составить обширный реестр того, чем я недоволен.

Но этот реестр смешон по сравнению с тем, из-за чего человечество бунтовало столетия.

А оно бунтовало.

Веками.

Видно, восстание присуще ему, как и послушание. Восстание даже как-то воодушевляет. Хотя всегда, в конце концов, кончается долгим стоянием по стойке «мирно».

Позвали меня как-то на именины. Старый друг,

еще с двадцатых времен. Вдвоем с ним мы сторожили в былые годы вагоны, снабжавшие продуктами фронт.

Именины на славу, с поцелуями и воспоминаниями. Все было в тон, как вдруг один охломон (подполковник в отставке) ни с того ни с сего поднял проблему о том, что Партия стала самым консервативным составом общества. Крупнокартным охранником.

Правда, тот подполковник в отставке был демократ, в пиджаке, без орденских планок и подпоясан широким ремнем.

Конечно, многое можно было бы ему возразить. И возразили бы.

Но тут хозяин подмигнул хозяйке, и та быстро вынула из холодильника еще три бутылки коньяка.

— Я вас на что звала! — сказала она. — В гости или на митинг?

И стала нарезать лимоны и колбасы.

закрытых, отполированных, уходящих в сумрачный коридор, дверей с табличками, обозначающими немощи, поведомственные каждой из них: сердце, горло, кости, желудок, нервы — Бог мой, как много всего в человеке! Просторный холл, украшенный плакатами о пользе свежего воздуха и вреда абортов. Две кадочки с пальмами. Пальмам плохо здесь, очень плохо, хуже этого холла для них только смерть.

Да и живы ли они или давно загинули и стоят тут только потому, что пальмам, живым или мертвым, положено быть в поликлиниках для красоты.

Я сижу в этом холле. Справа плотно закрытая дверь к онкологу, там, невидя на поздний час, все еще идет прием. Слева столик дежурной медицинской сестры. Поток больных схлынул, и сестричка глухо, вполголоса попустоляет по телефону. С кем? Не знаю. О чем? Не сразу поняла. Ведь слышу я, естественно, только ее слова. Только их жар и трепет:

— Да лузга это, Петя! Не было этого, говорю те-

бе! Это все тебе Инга наскребла! Зачем? А чтобы нас рассорить.

Справа, за дверью онколога, доктор и пациентка. Слышу короткие слова:

— Но это опасно, доктор? Скажите честно. Я готова на все.

— Все в жизни опасно, милейшая. Будем лечить. У телефона за столиком медсестры. Жаркий шепотный разговор:

— Ну хорошо, я была с ним у Зойки. И что? Побалдела, поужинали. Ну пошел меня провожать. Ну проводил. Ну зашли ко мне. И что? Что из этого? Слушай, не будь Отеллой.

За дверью онколога:

— Но это не совсем безнадежно, доктор! Скажите мне напрямик. Я стойкий, волевой человек. Прошла фронт и ссылку. Я видела то, что вам и не снилось. И выдержу все. Но хочу знать правду.

— Кто не хочет знать правды, достопопочтенная! Будем лечить.

У телефона:

— Ну проводил. Посидели. А потом? Что потом? Ничего потом. Посидел и ушел, даже не поцеловались. Да вправду я тебе говорю, все как есть! Эх, Фома ты, Фома, поспать бы тебя, куда надо!

За дверями онколога:

— Доктор, это конец?

— Будем лечить, уважаемая, будем лечить, будем лечить.

Я написал это накануне августовских событий 1991 года. Однако о самих событиях не написал. Потому что не знаю, как расценить их по правде и чести.

Финал ли это долгих коммунистических лет и начало чего-то совсем иного, совсем не похожего на все бывшее существование? Или все тот же тандем на пятачке, к которому мы так привыкли. Не знаю. Не знаю.

Не знаю бездоннее и глубже всего, чего не знал и не понял в жизни.

Рисунок Атилио Ортолиани.

В коридоре

Поздний вечер. Коридор поликлиники. Шеренга